

Гениальный и исчерпывающий ответ. Неудивительно, что Страхов больше к этим, необыкновенно волновавшим его сюжетам в переписке с Толстым возвращаться не будет. Да и имя Достоевского почти исчезнет в письмах Страхова. Дружественные отношения с Анной Григорьевной не прерывались. Желая сделать приятное Льву Николаевичу и Софье Андреевне, он сообщает как бы между прочим Толстому: «Кто это восхищался Ванечкой? Да, Анна Григорьевна Достоевская, не находившая слов, чтобы похвалить и его и Софью Андреевну».¹⁵⁵ Под занавес, незадолго до смерти он еще напишет Толстому: «А в прошлом мне особенно грустно и поучительно вспоминать о последнем фазисе Достоевского. Его патриотизм и церковный фанатизм доходили до болезненной щекотливости».¹⁵⁶ В 80-е годы Страхов совсем иначе писал о «последнем фазисе» Достоевского, но вряд ли здесь следует усматривать коварство и недоброжелательность — воззрения Страхова под могучим воздействием Толстого к тому времени сильно изменились: от присущего ему славянофильства и патриотизма почти ничего не осталось.

Все же Страхов предпринял, набравшись мужества и усмирив «стыд», еще одну попытку исповеди, решив последовать совету Толстого. Бодро начал 1 августа 1893 года письмо из Мюнхена, но, дойдя до конкретных «опытов», круто оборвал рассказ: «Вы уговаривали меня писать субъективнее, откровеннее. Хорошо, я попробую — не знаю, как Вам понравится. Та любовь к себе, которую чувствует каждый, у меня, может быть, имеет в себе что-нибудь отвратительное. Здесь и в Эмсе я много каялся в своих грехах. В моей жизни я не делал зла — кроме разве одного случая — соблазна девушки, которого я тогда не считал грехом. И жадности у меня никогда не было. Но, Боже мой, каким эгоистом я прожил жизнь! Сколько случаев сделать добро, помочь, утешить я пропустил бессовестно! Мои бедные братья! Да мало ли посторонних людей и разных дел, где я показал свою сухость и холодность! Всего больше меня, однако же, мучит несчастная судьба двух жертв моего распутства. С моей стороны тут было только легкомыслие, но как оно жестоко разыгралось! Поздно я понял, но понял, однако, что связь с женщиной иногда равняется убийству, членовредительству, что это — непоправимое вмешательство в чужую жизнь. И теперь мне нет никакого утешения!

Но это все мои личные дела, в которых, кроме себя; мне не на кого жаловаться. А я хочу Вам пожаловаться на свою судьбу».¹⁵⁷

Пересилить натуру Страхов не смог и на этот раз. Быстро свернул рассказ о ставших уже давно историей «опытах», память о которых возбудило так сильно задевшее Страхова прочтенное им в Эмсе весной 1875 года письмо Толстого. Он откладывает в сторону (но, к счастью, не уничтожает) слишком личное и субъективное письмо, в котором очевидно влияние повести «Крейцера соната» (в целом ряде писем к Толстому он разбирал повесть, сообщал о реакции читателей и слушателей, а в Германии ее переплел, читал и перечитывал), и начинает новое: «Ваше письмо, бесценный Лев Николаевич, полученное мною в Эмсе, не дает мне покою. Беспрестанно об нем думаю (тут что же делать, как не думать?) и много раз собирался отвечать, вчера затеял длинное письмо, начал и бросил: слишком высокий тон, на который я, кажется, не имею права».¹⁵⁸

¹⁵⁵ Там же. С. 975.

¹⁵⁶ Там же. С. 1026. Письмо от 25—26 декабря 1895 года.

¹⁵⁷ Там же. С. 925.

¹⁵⁸ Там же. С. 926.